

Алексей Подчиненов, Татьяна Снигирева

"Гражданин мира" как категория и как образ русской литературы

Studia Rossica Posnaniensia 33, 41-49

2006

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

„ГРАЖДАНИН МИРА” КАК КАТЕГОРИЯ И КАК ОБРАЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

“CITIZEN OF THE WORLD” AS A CATEGORY AND AS AN IMAGE OF RUSSIAN LITERATURE

АЛЕКСЕЙ ПОДЧИНЕНОВ, ТАТЬЯНА СНИГИРЕВА

ABSTRACT. The article considers a social and political category of *the citizen of the world* as a base of the hero typology in Russian literature of the 19-th and 20-th centuries. The main attention is given to transformation of traditional fiction images (*the unnecessary man, the Russian European, the Russian wanderer*, etc.) during this period. It results in the replacement of the concept of *the citizen of the world* with the concept *the person of the world*.

Алексей Подчиненов, Татьяна Снигирева, Уральский государственный университет им. А.М. Горького, Екатеринбург – Россия.

„Гражданин мира”, категория, пришедшая из политической сферы, была освоена и адаптирована русской литературой XIX–XX веков в соответствии с ведущими философско-художественными тенденциями времени, а также индивидуальными концепциями „человека и мира”. „Гражданин мира” – категория, связанная в европейском общественном сознании с утопическим комплексом „свобода–равенство–братство”, предполагает осуществление жизнедеятельности личности в системе „свободы от и свободы для”¹: прежде всего, свободы от внешнего принуждения, которое ассоциировалось и с принадлежностью к определенным, всегда, в конечном счете ограничивающим рамкам геополитического характера, то есть свободы от диктата „почвы” и „нации”. В результате позиционирование „я – гражданин мира” наполняется следующими самоидентификационными смыслами: равенство людей вне зависимости от их национальной принадлежности и общечеловеческое братство вне зависимости от географической привязанности.

Глобальность утопического взгляда на человека, объясняющая всеобщность с иной, нежели национальная точка зрения, провоцирует литературу на особый масштаб видения связи „человек – мир”. Как писала М. Цветаева:

¹ В.К. К а н т о р, *Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ)*, Москва 2001, с. 50. Автор этой работы выделяет еще одну форму свободы – свободу вопреки – когда человек „осуществляет свою творческую самореализацию вопреки и помимо внешних обстоятельств, как бы не обращая на них внимание”, что в особенности характерно для русского общества (там же, с. 51).

Человек, раз он родился, имеет право на каждую точку земного шара, ибо он родился не только в стране, городе, селе, но – мире².

Русская литература, как литература максимально приближенная к социальной жизни, заменяя собой в течение долгого времени с начала своего существования философские, общественные и политические дискуссии и борьбу, предложила свои коннотации смыслового комплекса „гражданин мира” и свою движущуюся вместе со временем систему образного его воплощения.

Попытаемся вывести некую типологию „гражданина мира”, опираясь на материал русской литературы XIX–XX веков.

1. Литература XIX века

Государственная установка – „Россия есть страна европейская” (Екатерина Великая) – предопределила одну из магистральных тем литературы и литературной борьбы, связанную с рядом оппозиций: Европа – Азия, Запад – Восток, западное/европейское – русское/почвенное, католицизм – православие, дворянство – народ, Петербург – Москва и производные от последней оппозиции: петербуржец – москвич, петербургская – московская школа поэзии, Петербургский – Московский текст русской литературы. По точному замечанию В.Н. Топорова,

...восстав из „топи бласт”, Петербург расколол русское общество на две непримиримые части: для одной это был „парадиз”, окно в Европу, в которое Петербург старался втащить всю Россию, для другой он был бездной, предвещанием эсхатологической гибели. Попытки примирения двух крайностей не удавались, более того, сама идея их синтеза представлялась неосуществимой³.

Оценочная характеристика образа „гражданина мира”, связанная в литературе XIX века с проблемой судьбы России, ее пути и предназначения, весьма сложна.

1.1. Образ „просвещенного героя”, „западника”, мечтающего о воплощении европейского образа жизни, европейской формы межличностной коммуникации.

С одной стороны, это тип „лишнего человека”, „скитальца”, осознающего свое бессилие перед реальностью русской жизни и вынужденного ценой жизни доказывать правильность своих ценностных интенций. Это, безусловно, трагический герой, как тургеневский Рудин, чье имя происходит от слова *руда*, то есть не бесполезной для общества породы. Неслучайно Лежнев, антагонист Рудина, говорит ему на прощание:

Ты назвал себя Вечным Жидом... А почему ты знаешь, может быть, тебе и следует так вечно странствовать, может быть, ты исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное назначение...⁴

² М.И. Цветаева, *Собрание сочинений: в 7-ми томах*, т. 7, Москва 1995, с. 689.

³ В.Н. Топоров, *Петербургский текст русской литературы*. В: *Избранные труды*, Москва 2003, с. 5.

⁴ И.С. Тургенев, *Полное собрание сочинений: в 30-ти томах*, т. 5, Москва 1988, с. 321.

С другой, это „русский западник”, свое разочарование в банальности и пошлости устройства европейского общества экстраполирующий на Россию, что порождает у него резко критическое, нигилистическое отношение, как к западной цивилизации, так и к отечественному мироустройству (Чацкий, Базаров, Версиков). Оторванность от национальных корней является знаком трагического самосознания героев.

1.2. Другой тип – „русские европейцы”. Это, как отмечал В. Кантор, люди, которые „понимали, что Европа – «вещь реальная», живущая не чудесным образом, а трудом, неустанными усилиями”⁵, и поэтому они ставили перед собой цель – кропотливым трудом проложить свой путь в Европу. Галерея этих образов открывается пушкинским Петром Великим и своеобразно продолжается в тургеневском Соломине, гончаровском Тушине, Алеше Карамзине Достоевского. По удачному выражению русского философа, русский европеец строил Россию⁶.

1.3. Наконец, в русской литературе устойчиво сложилось негативное отношение к „полу-европейцу”, чья увлеченность всем западным оборачивалась презрением к национальному, русскому (Репетилов из *Горе от ума* А.С. Грибоедова, Губарев и его кружок в романе И.С. Тургенева *Дым*).

2. Литература XX века

В новую литературную эпоху сюжет „Европа–Азия”, „запад–восток” по-прежнему остается одним из центральных в художественных исканиях русских писателей, но, что закономерно, наполняется корректированными временем смыслами, вплоть до переименования категории „гражданин мира”.

Литература рубежа XIX–XX веков, вся охваченная предощущением будущих сдвигов и кардинальных изменений в судьбе России, настойчиво размышляет о „тайне русского характера”, о „тайне русской души”. Так, И. Бунина чрезвычайно беспокоили „пестрая душа славянина”, особые (непредсказуемость поведения) „черты психики славянина”, „русская азиатчина”, которые, по мнению писателя, привели к драме славянской души, „гибельно обособленной от души общечеловеческой” и, как следствие, к драме русской истории, драме Большой культуры:

Боже милостивый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев? Скажешь, правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?⁷

⁵ В.К. Кантор, указ. соч., с. 15.

⁶ Г.П. Федотов, *Судьба и грехи России: в 2-х томах*, т. 2, Санкт-Петербург 1992, с. 179.

⁷ И.А. Бунин, *Собрание сочинений: в 6-ти томах*, т. 3, Москва 1987, с. 56.

Драме культуры повседневья, „звериного русского быта“:

Чернозем-то какой! Грязь на дорогах – синяя, жирная, зелень деревьев, трав, огородов – темная, густая... Но избы – глиняные, маленькие, с навозными крышами. Возле изб – разошедшие водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками... Вот богатый двор. [...] Да, двор богатый. Но грязь кругом по колено, на крыльце лежит свинья⁸.

Не случайно Д. Мережковский, анализируя повесть М. Горького *Детство*, материалом которой, как и для бунинской *Деревни*, стала жизнь российской провинции, приходит к выводу о том, что писатель создает два образа высочайшей степени художественного обобщения: образ Дедушки, России-Европы, и Бабушки, России-Азии, выбор между которыми одновременно и невозможен, и необходим. Именно в этом писатель видит и трагедию самого Горького, которая, с его точки зрения, является отражением трагедии всей России.

Русская литература советской эпохи, как литература особо идеологизированная, вернула категории „гражданин мира“ ее политическую наполненность и, как следствие, утопический смысл, порой поражая своей откровенной прямой связью с государственным заказом. Однако, учитывая разнонаправленность исканий литературы, переживавшей драму раскола, можно выделить основные варианты художественной трактовки категории „гражданин мира“.

2.1. „Гражданин мира“ = „боец мировой революции“. Это образ, характерный для официальной советской литературы, обнажающий трансформацию царской имперской идеи „Москва – Третий Рим“ в советскую имперскую идею „Третьего Интернационала“. Образы этого ряда вписаны в героико-романтический пафос освобождения „всего угнетенного человечества“ и необходимости обретения общепролетарского братства.

Показательной здесь является полузабытая ныне поэма Б. Корнилова *Моя Африка* (1934–1935). Поэт, отталкиваясь от реального факта участия в Гражданской войне сенегальца, создает фантастико-романтический образ негра Вилана („Его крестили в Африке Виланом, / что правильно по-русскому – Иван“), поразившего воображения юного художника Добычина:

Казалось, это бредовое – / словом, / метель вокруг ходила колесом, / а он откуда выходец? / С лиловым, / огромным, оплывающим лицом ... / глаза глядели яростно и косо, / в ночи огнями белыми горя, / широкого приплюснутого носа / пошевелилась черная ноздря⁹.

Видение негра на заснеженном Невском в алеющей на „злой папахе“ „пятиталой звезде“ не только поразило героя до бреда, болезни, сумасшествия (традиционный для петербургского текста мотив), но (и это знак уже совершенного иного времени и мироощущения) заставило пойти путем революции, сверить свою судьбу с героической гибелью Вилана на заснеженных просто-

⁸ Там же, с. 67.

⁹ В. К о р н и л о в, *Избранное*, Москва 1976, с. 179.

рах России и, в конце концов, прийти к твердому убеждению о взаимозаменяемости „бойцов мировой революции”: „Как умер он в бою / за сумрачную / за свою Россию, / так я умру за Африку мою”¹⁰.

В эти же, тридцатые годы, в жанре производственного романа, ставшего в какой-то степени визитной карточкой соцреализма, почти обязателен был образ иностранца, „спеца”, изначально настроенного иронико-скептически к возможности (технической) решения индустриальных задач, которые поставила перед собой страна-подросток. Образ иностранного специалиста призван был, во-первых, подчеркнуть небывалость с точки зрения европейских стандартов замыслов Республики Советов („мы рождены, чтоб сказку сделать былью”), свершение которых обеспечивалось идеальностью нового типа государственного устройства, во-вторых, в ходе строительства чужой и чуждый идее социалистического преобразования мира иностранный спец становился, наряду со всеми охваченным „энтузиазмом труда”, вполне своим или признавал свое полное поражение.

Однако А. Платонов уже в двадцатые годы, совпадая с внешними проблемно-тематическими маркерами складывающейся официальной литературы, в ранней своей повести *Эпифанские шлюзы* (опубликована в 1927 году) предлагает резко-индивидуальные постановку и решение конфликта „Европа – Азия”. Его „европеец” и его „русский” (тема преобразования мира, столь актуальная для советской литературы, представлена на знаковом для русской словесности материале – Петр и время грандиозных реформ, проектов по переустройству России) никогда не станут „гражданами мира”, никогда не соприкоснутся в пространстве общечеловеческого единства. И дело здесь не только в традиционном мотиве непонимания, непреодолимости барьера между двумя ментальностями – европейской, цивилизационной и азиатской, невежественной, дикой, хотя этот мотив весьма явственен в повести, субъектная организация которой нацелена на репрезентацию прежде всего стороннего и оценивающего российскую жизнь с точки зрения „многочумной Европы” и родного для героев „Ньюкестля, где мореплавателей всегда изрядно и есть чем утешиться образованному взору”¹¹. Письма Вильяма Перри, размышления Бертрана Перри наполнены наблюдениями и формулами-оценками, мягко говоря, странных для английских инженеров жизни и характера русских:

Россы мягки нравом, послушны и терпеливы в долгих и тяжелых трудах, но дики и мрачны в невежестве своем (с. 37);

Царь Петр весьма могучий человек, хотя и разбродный и шумный понапрасну. Его разумение подобно его (с. 38).

¹⁰ Там же, с. 205.

¹¹ А. П л а т о н о в, *В прекрасном и яростном мире. Повести и рассказы*, Москва 1965, с. 37. Далее повесть *Эпифанские шлюзы* будет цитироваться по данному изданию с указанием страниц в скобках.

Вызывают сложные чувства и природа России, и ее культура. Здесь Платонов мастерски моделирует инациональное сознание, способное предложить невероятную для русского, но по-своему точную характеристику:

худая, изящная береза и скорбящая певучая осина (с. 47),

храм Василия Блаженного – это страшное усилие души грубого художника постигнуть тонкость, вместе – круглую пышность мира, данного человеку задаром (с. 47).

„Обустроить Россию”, с точки зрения Платонова, по европейскому образцу невозможно, более того, смертельно опасно как для „преобразователя”, так и для российского народа, который, пока его не трогают, живет невежественной, но имеющую свою инстинктивную упорядоченность жизнью, никак не соотносимой с европейским рационализмом:

Потянулась великорусская зима. Епифань засыпалась снегом, окрестности окончательно замолчали. Казалось, что люди здесь живут с великой скорбью и мучительной скукой. А на самом деле – ничего себе. Ходили друг к другу на многие праздники, пили самодельное вино, ели квашеную капусту и моченые яблоки и по разу женились (с. 55).

„Англиканский чудотворец”, впрочем как и царь, мало понимают в законах русской природной жизни, в то время как „а что воды мало будет и плавать нельзя, про то все бабы в Епифане еще год назад знали и на работу жители глядели как на царскую игру и иноземную забаву, а сказать, к чему народ мучают, – не осмеливались (с. 64).

„Стронутый народ” сначала повиновению чуждой воле предпочитает пассивное неподчинение, люди на стройке „умирали и бежали”. Но в предельной ситуации на насилие отвечает насилием извращенным:

Дьяк ушел и задвинул снаружи наглухо двери, не сразу управившись с железом. Остался другой человек – огромный хам, в одних штанах на пуговице и без рубашки.

– Скидывай портки!

Перри начал снимать рубашку.

– Я тебе сказываю – портки прочь, вор!

У палача сияли диким чувством и каким-то шумящим счастьем голубые, а теперь почерневшие глаза (с. 67).

Всю невозможность для русского стать европейцем обнаруживает трагедия Платоновым царя Петра, мечтавшего

...главнейшие реки империи нашей в одно водяное тело сплотить и тем великую помощь оказать мирной торговле, да и всякому делу военному. Через оные работы крепко решено нами в сношение с дрелезийскими царствами сквозь Волгу и Каспий войти и весь свет с образованной Европой, поелику возможно, обручить (с. 43).

Но, столкнувшись с невозможностью воплотить в жизнь свой замысел обрусения с просвещенной Европой, царь обнажает свое истинное лицо, лицо жестокого азиатского правителя, способного перед спуском корабля надевать на строителей черные балахоны и в случае удачи собственноручно снимать их, неудачи – казнить, а в письме

„Главному инженеру Епифанских шлюзов и каналов меж Доном и Окой” прямо сказать: „Ежели и в нынешнем лете прогадаешь со шлюзами и каналами – тогда гляди сам. Что ты британец – отрадой тебе не станется” (с. 56).

2.2. „Гражданин мира” = „эмигрант”, „отщепенец”, „предатель”, „изгой”, „изгнанник”. В данном случае характерны разнонаправленные авторские оценки: сатира, трагедия, отчуждение.

Для официальной советской литературы характерен прежде всего отрицательный образ, представленный прежде в резких, подчас снижено грубых тонах: „Вернись теперь такой артист на русские рублики – / я первый крикну: / обратно катись, / народный артист Республики”. В цитируемом стихотворении *Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому* (1926) четко определена единственно возможная оценка „ухавших”. Важно было подчеркнуть причину отъезда: не политические убеждения, но корысть:

Или жить вам, как живет Шалапин, / раздушенными аплодисментами оляплен?
И Вы / в Европе, / где каждый из граждан / смердит покоем, / жратвой, / валютой!
Поэт как бы не замечает, что, перечисляя те блага, которые получит Горький, вернувшись на родину, непременно будут и материальные поощрения: „Я знаю – / Вас ценит / и власть / и партия, / Вам дали б все – / от любви / до квартир”¹².

А. Твардовскому даже в годы „оттепели” (по словам А. Ахматовой, время „уже вегетарианское”) во вступительной статье к первому после вынужденного длительного перерыва издания собрания сочинений писателя, пришлось идти на своеобразные уловки, объясняя публикацию произведений и эмигрантского периода. Во-первых, он противопоставляет трагедии эмиграции И. Бунина легкомысленную успешность „небезызвестного В. Набокова”:

Человеку преуспевающему, довольному собой, рисующемуся тем, что, мол, занятя энтомологией, открытие на земном шаре нового, еще одного вида бабочек составляют больший предмет его честолюбия, чем литература, – этому человеку, отказавшемуся даже от родного языка, не понять было мучительной тоски настоящего поэта по родной земле, ее степям и речкам, перелескам и овражкам, снегам и ранней весенней зелени, по родной речи в ее живом народном звучании¹³.

Во-вторых, „спасая” произведения позднего Бунина, отмеченные углубленной трагической философичностью, объясняя ее „смертельной тоской разрыва с отчизной”, Твардовский вынужден отказаться и отречься от *Окаянных дней*, прекрасно осознавая, что эта книга „непроходима” (словечко из редакционного сленга *Нового мира*):

Бунинские писания, подобные его дневникам 1917–1919 годов *Окаянные дни*, где язык искусства, взыскательный реализм, правдивость и достоинство литературного

¹² В. В. Маяковский, *Полное собрание сочинений: в 13-ти томах*, т. 7, Москва 1958, с. 210–211.

¹³ А. Т. Твардовский, *Собрание сочинений: в 6-ти томах*, т. 5, Москва 1980, с. 80.

изъяснения просто покидают художника, оставляя в нем лишь иссушающую злобу „его превосходительства, почетного члена императорской академии наук”, застигнутого бурями революции и терпящего от них порядочные бытовые неудобства и лишения, – эти писания мы решительно отвергаем. Я, например, не вижу необходимости оставаться на этих *Днях*, не уступающих в контрреволюционности более известным у нас *Дням Шульгина*¹⁴.

Естественно, что в русской литературе эмиграции возникает противоположный по своему пафосу образ, трагический образ человека, отторгнутого своей страной: от „принца в изгнании” русских романов В. Набокова до лирической героини М. Цветаевой. В случае с М. Цветаевой, на наш взгляд, важно не только классическое стихотворение *Тоска по Родине*, но и поздний стихотворный цикл *Стихи к сыну*, в котором поэт отказывает себе в самой возможности духовного возвращения на родину, которая из России превратилась в „свистящий звук – СССР”, но осознает безусловную необходимость возвращения для своих детей как единственного шанса выбора истинной судьбы:

Ни к городу и ни к селу –
Езжай, мой сын, в свою страну, –
В край – всем краям наоборот! –
Куда *назад* идти – *вперед*
Идти, особенно – тебе,
Руси не видывавшее
Дитя мое ... Мое? *Ее* –
Дитя!¹⁵

Наконец, в рамках советского пространства уже сразу после революционного переворота возникает отчужденный от авторского „я” образ „тех, кто бросил землю на поругание врагам” (А.А. Ахматова), противопоставленный „нам”, разделившим судьбу России, как бы горька она ни была. Анализируя два стихотворения, посвященных Б.В. Анрепу, *Высокомерьем дух твой омрачен...* и *Ты – отступник: за остров зеленый...*, в которых оппозиция „я” – „ты”, „мы” – „те”, „они” становится конструктивным принципом, В.Н. Топоров пишет об особом величии выбора Ахматовой:

Верность жизни для религиозного сознания предполагает верность Судьбе, конкретнее – верность с в о е м у м е с т у, не потому что оно досталось тебе в силу случайностей наследственной цепи и ты стоял на этом месте раньше, но потому, что оно с в о е, а „свое” оно потому, что здесь и только здесь твоя жизнь может „невозмущенно”, органически соединиться со своей Судьбой, реализовать ее со всей ответственностью, выполнив тем самым свой высший долг¹⁶.

¹⁴ Там же, с. 81.

¹⁵ М.И. Ц в е т а е в а, *Избранные произведения*, Москва–Ленинград 1965, с. 294.

¹⁶ В.Н. Т о п о р о в, указ. соч., с.282.

Характерно, что обозначенная оппозиция „я” – „мы” в высшей степени присуща Ахматовой, при безусловном сохранении акмеистического принципа „тоски по мировой культуре”. Позицию открытого отчуждения от оправдания эмиграции в последней трети XX века отстаивал в своей публицистике А.И. Солженицын.

На рубеже XX–XXI-го столетий складывается ощутимая тенденция к замене в категории „гражданин мира” первой ее составляющей – „человек мира” как знак отстаивания приватности своего существования по отношению к любым государственным доктринам: „Я никого не представляю, кроме самого себя” (И. Бродский). Еще резче, определеннее поэт отвечает на вопрос журналиста – „А как вы переживали свое еврейство как таковое?” В своем ответе Бродский отстаивает личный неизменный постулат о независимости поэта от всего, кроме языка:

Я мало задумывался об этом, хотя бы потому, что всегда старался, возможно самонадеянно, определить себя жестче, чем допускают понятия „раса” или „национальность”. Говоря иначе, из меня плохой еврей. Надеюсь, что и плохой русский. Вряд ли я хороший американец. Самое большее, что я могу о себе сказать: я есть я, я – писатель¹⁷.

¹⁷ И. Б р о д с к и й, *Большая книга интервью*, Москва 2000, с. 164.